

БОРИС ГАНКИН

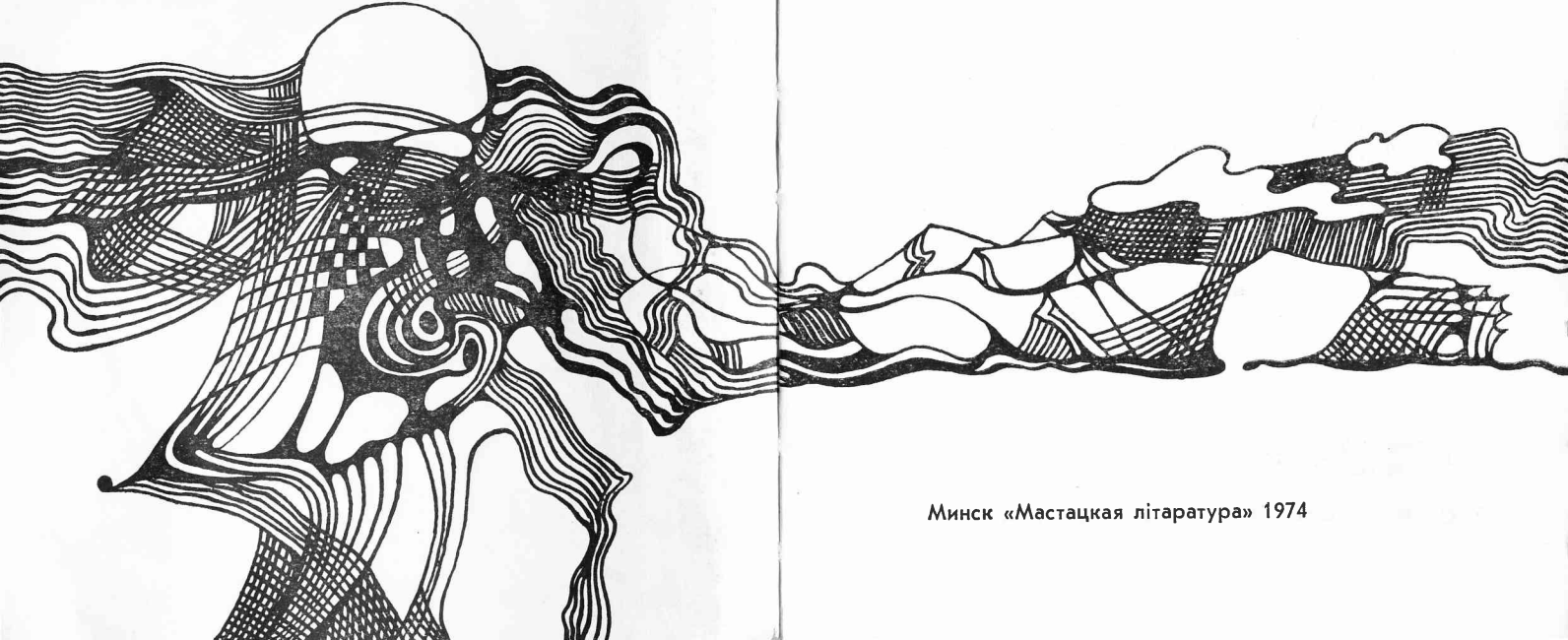
ТРОПУ ТОРИТЬ...



БОРИС ГАНКИН

ТРОПУ ТОРИТЬ...

СТИХИ



Минск «Мастацкая літаратура» 1974

* * *

*Запас отпущенных мне весен
с годами все бедней.
Но стали крепче ветви сосен
над головой моей,*

*понятнее движенье сока
и ветра шум,
и глубже сделались истоки
заветных дум.*

*Беру у жизни очень много.
Но, может быть,
смогу и я свою дорогу
ей подарить.*

*Не ветром прошумлю над рощей
я поутру.
Надеюсь, что оставлю больше,
чем заберу.*

Г $\frac{70402-190}{M 302(05)-74}$ 45-75

© Издательство «Мастацкая літаратура», 1974 г.

I. ПЕРВЫЙ СЛЕД

Рано утром расходимся в разные стороны,
возвращаемся в лагерь уже в темноте.
Мы горами и солнцем
настолько изморены,
что одно только радует:
сон в тесноте
утепленного спальника,
чистого, мягкого...
Ноги вытянув, нежимся
мы в гагажьем раю.
За палатками ветер жестянками звякает,
над обрывами пляшет на черном краю.
Рюкзаки с образцами стоят, недвижимые:
по камням очень многое
предстоит прочесть.
Ноют ноги.
Но, видимо, все мы двужилые,
если утром уходим на поиск опять.

Мама плакала:
не сидится ей!
Но у Оли был план простой:
кончить школу — и в экспедицию,
за туманами,
за мечтой.
Ни минуты не колебалась,
избирая желанный путь.
И просилась, и добивалась.
Взяли... поваром.
Ну и пусть!
И она от души старается,
чтоб и борщ повкусней, и плов.
А ребята придут — шатаются:
в рюкзаках — двухпудовый улов.
Лишь проглотят свой ужин, молча
залезают на ночь в мешки...
Но не спится Оле.
Полночи
просидит она у реки.
Бьется пенный поток о скалы,
звезды падают на арчу.
«Все, что в детских мечтах искала,
обязательно отыщу!

Разберусь и в руде, и в камне,
кончу Горный, вернусь сюда,
доберусь до вершин, как парни...»
...В котелке закипает вода.
Долго моет посуду Оля.
А под утро — кофе кипит.
Новый день из ущелья на волю
по нехоженным тропам спешит.
Ледники полыхают багрово,
васильковый у неба цвет.
«Оля-Оленька, будь здорова!
Повкусней приготовь обед».
И, краснея, она смеется:
«До свиданья! Удачи вам...»
К ледникам вслед за жарким солнцем
поднимаемся по камням.
Будет струйка белого дыма
целый день нам видна едва.
Оля-Оленька, необходимы
эти утренние слова.
Ты рукой нам приветливо машешь
и не знаешь сама о том,
что костер твой — очаг домашний:
как домой, мы к тебе придем,
что ребятам дышится легче
оттого, что навстречу им
поднимается каждый вечер
этот белый уютный дым.

НАЙДЕМ ЛИ МОЛИБДЕН?

В горах грохочут взрывы,
и эхо без конца
несется над обрывом,
качая деревца.
Породу обнажая,
взрыв скалы рушит вниз,
и серный дым, качаясь,
над скалами повис.
А что за дымом серным —
глаза не разглядят...
Базальтовые стены
рокочут и дрожат.
Взрывник Иван Петрович
бросает «Беломор»
и говорит устало:
«Ну, наломал я гор!»
А дым ползет, как вечер,
на черный край земли.
И — рюкзаки на плечи —
геологи пошли
легко и неторопко...
А мысли, между тем,
бегут вперед по тропкам:
«Найдем ли молибден?»

И сам Иван Петрович,
хоть мог бы отдохнуть,
идет за нами в гору.
И долгон этот путь:
в нем годы экспедиций,
он круче горных стен.
А в сердце острой спицей:
«Найдем ли молибден?»

МОИ ДРУЗЬЯ

Вокруг меня — нетронутый простор.
Горят снега над чернотой обвалов.
Со мной живут
среди угрюмых гор
ребята из особо прочных сплавов:

особенная горная руда,
особенная горная работа —
соединенье песен и труда,
сплав мужества,
терпения и пота.

Друзей себе в горах я отыскал —
немногословных знатоков природы,
откованных на наковальне скал
ударами свинцовой непогоды.

Пусть ветер, пролетевший надо мной,
в слепом безумстве сотрясает горы —
с друзьями, как веревкой основной,
я связан жизнью,
радостью и горем.

* * *

Здесь скалы высятся над скалами,
исполосованы обвалами.

И кажется, что эти линии
оставили когтями длинными
доисторические чудища.

И вдруг ты сам себе почувдишься
свидетелем далеких лет...

А горы смотрят настороженно —
быть может,
им и впрямь положено
знать все,
чего на свете нет.

* * *

Не думай плохо обо мне,
когда не будет писем,
когда в холодной тишине
тебя сожмет печаль.

Нет писем?

Значит, снова я
в крутые горы вышел,
и снова разлучила нас
нетронутая даль.

Нет перевалов иногда,
и нет тропы удобной,
нет почтальонов, лошадей,
и вертолетов нет —
есть только ледяной обрыв,
есть только дождь холодный
и в черном небе надо мной
вершины силуэт.

Ты в этот тихий поздний час
возьми конверт измятый,
достань знакомое письмо:
пусть строки говорят!

Прошу тебя, не замечай
почтовой старой даты,
а верь:
письмо к тебе пришло
всего лишь час назад.

ПЕРЕПРАВА

Поток широк и неглубок.
Но быстро катится вода,
швыряет камни,
валит с ног,
чуть зазеваешься — беда!

Но обойти поток нельзя.
Сурова переправа вброд.
И вот, шатаясь и скользя,
обнявшись,
мы идем вперед.

В борьбе с грохочущей водой,
где в одиночку не пройти,
мы познаем закон простой:
без друга нет в горах пути.

Потом, вернувшись в города,
не часто видимся мы с ним.
Но, как поток, взревет беда —
мы рядом!
Мы на том стоим.

КОНТРОЛЬНО-СЛЕДОВАЯ ПОЛОСА

В пальто или шинель одеты,
в дожде ли, вьюге ли, пыли —
мы начинаемся от этой
полоски вспаханной земли.

От этой узенькой полоски
мы счет ведем своей земле,
ее озерам и березкам,
мерцающим в прозрачной мгле.

Чтоб были мирными рассветы,
вдоль всей границы мы стоим
и чистоту полоски этой,
как чистоту души, храним.

ВЕТЕР «АФГАНЕЦ»

«Афганец»-ветер в лица лупит.
Мы изнываем, словно нас
вложили в фокус мощной лупы
и жгут огнем не торопясь.

Какая баня! И над речкой
пыль водяная горяча,
раскалены, как будто печи,
жарой и скалы, и арча.

Не прикоснуться к автоматам,
бинокли потом затекли...
Идут вдоль КСП солдаты —
вдоль вспаханной сухой земли.

А горы высятся над нами,
да змеи меж камней шуршат,
потоки пыли над камнями,
неудержимые, летят.

«Афганец»!
Я иду — и снова
мне в желтой видится пыли,
как гонит дождь меня, босого,
под звон разбуженной земли.

Какая радостная свежесть,
какая всюду чистота!
И подступает к сердцу нежность
к далеким и родным местам...

УТРО В СЕЛЕ

Калиткой скрипнув, утро
вступает на порог.
По травам иней-пудру
рассыпал холодок.
Но только выйдет солнце,
как рыжий конь, на луг —
по травам разольется
огонь веселый вдруг.
Где бревна конопато
светились до поры —
ударили, как дятлы,
с восхода топоры.
Подогнано толково
людьми бревно к бревну.
И стены хаты новой
растут навстречу дню.
День, словно новоселье,
рокочет и поет,
заботы и веселье
он каждому несет.
Распоряжайся мудро
подаренным теплом —
и станет счастьем утро,
входящее в твой дом.

С утра смола блестит на соснах,
и земляничкой лес пропах,
и — рядом — луг лежит в цветах.
Июнь!
Пришла пора покоса.

Кристаллы ласковой зари
рассыпаны в траве росистой,
сверкают радостно и чисто.
Идут уступом косари.

На луг я с ними выхожу,
беру косу.
И — взмах за взмахом! —
пусть на плечах трещит рубаха!
Июнь.
И я траву кошу:
«Раз-два, раз-два» —
июньским кодом:
«Коси, коса, пока роса!»
И пахнут мятой небеса,
и молоком парным,
и медом.

Рано утром — еще не увидишь огней —
старый конюх выводит из стойла коней,
неторопко впрягает в телегу...
И, молча,
по деревне, уже расстающейся с ночью,
едет он...
На дороге в росе серебристой,
неотоптанной ветром,
нетронута чистой,
остаются следы от колес — две полосы,
первый след на траве,
вековечный,
неброский...
Курит дед. Улыбается:
счастлив, наверно,
первый след на траве
проторять ежедневно.

* * *

И сам я в беззаботной юности
придумывал и создавал
несуществующие трудности:
ведь настоящих я не знал.

Писал о муках, мук не ведая,
по-книжному порой страдал.
А мир огромный, неизведанный
меня за дверью ожидал.

И вот пошел самостоятельно!
Шел, бездорожье не кляня,
и перед взглядом любознательным
раскрылась жизнь, как целина...

Штиль чередуется с ненастьем.
И день, и ночь даются мне,
чтоб постигать, какое счастье
тропу торить по целине.

ПЕСНЯ

Горит на берегу костер.
Поют над Нарочью девчонки,
и эту песню ветер звонкий
над тишиною распростер.

Сеть с лодки в озеро сползает
дорожке лунной поперек,
луну, как белый поплавок,
волна качает и качает.

Дед Стефан, весла погружая
бесшумно в темную волну,
прищурясь, смотрит на луну...
И, дальней песне подражая,

фальшиво, с хрипотцой, поет.
А волны о корму стучатся,
как рыбы, звезды суетятся,
и бесконечно сеть ползет...

ГРОЗА НАД НАРОЧЬЮ

Ах, как ударила гроза,
как стрелы молний тонких
ломались в гулкой тишине
пронзительно и звонко!

А гром над Нарочью катил
чугунные колеса,
и ветер вал за валом бил
о желтые откосы.

...В последний раз ударил гром —
и вдруг утихли волны,
и Нарочь вспыхнула огнем,
прозрачным и спокойным.

И тут моторки вдалеке
из дымки показались:
на берег с лова рыбаки
устало возвращались.

Моторки шли не торопясь...
Так люди после смены
идут с работы, не спеша,
спокойно и степенно.

ПУТЬ МЕТАЛЛА

Свой путь начинает металл
от взорванной горной породы,
от домны, где пламя вобрал,
от формы, где он остывал,
от шумного цеха завода,
где сталью в мартене он стал.
Но все это — только начало.
А путь был и крут, и жесток:
то молотом тяжким ковали,
то форму резцом придавали,
калили огнем, шлифовали,
чтоб честно работал свой срок.
И вот стал он новой деталью
и в узел назначенный лег.
И это — начало, поверьте!
А дальше — работа.
И вот
уходит в полет самолет,
машина по трассе идет,
станок напряженно поет,
и к звездам летит звездолет —
а где-то в грохочущем сердце
деталь, напрягаясь, живет!

Кузнец — ваятель.
Он берет
бесформенный кусок металла,
светящийся в захвате ало,
и молотом его кует.

Металл шипит в негодованье,
но уступает наконец,
и придает ему кузнец
детали новой очертанья.

Темнеет, остывая, сталь...
Кузнец придирчив: все ль как надо?
Со всех сторон проверит взглядом —
и вот уносит кран деталь.

Она под потолком плывет
над прессами и молотами.
И, проводив ее глазами,
кузнец устало вытрет пот...

* * *

Здесь работа сродни ювелирной:
тонкий круг прикоснется к металлу —
раскаленные искры хлынут
из-под круга, как ливень алый.

Закаленный огнем на прочность,
кругу твердому уступая,
неохотно микронную точность
и зеркальность металл получает.

Шлифовальщица на мгновенье
остановит станка качанье
и деталь осторожно измерит —
вся терпение и вниманье.

Под эмульсией бело-молочной
пальцы двигаются проворно.
Нелегко достается точность,
нелегко уловить микроны.

Вновь и вновь, как кометы, ало
искры быстрые пролетают.
А колонка готовых деталей
цеховые огни отражает.

В то мгновенье,
 когда электродом коснусь я детали,
 затрещат, рассыпаясь,
 горячие протуберанцы.
 И рождается Солнце
 на гладкой поверхности стали,
 и звезда за очками
 пылает вишневым румянцем.
 На конце электрода держу, как на привязи,
 Солнце.
 А оно по орбите идет,
 что рука моя предназначрала.
 Там, где Солнце
 металла лучами своими коснется —
 нагревается сталь:
 это наше тепло отдается металлу.

* * *

Мой труд конструктора сродни
 труду поэта.
 Неугомонно
 спешат минуты, уходят дни
 на тяжкий поиск
 решений новых.
 Когда к детали встает деталь
 и обретает станок дыханье —
 я счастлив, если чугун и сталь
 послушны будут моим желаньям;
 когда наладчик — мой строгий друг,
 станок гонявший, аж жаль беднягу, —
 на суппорт руку положит вдруг
 и скажет ласково:
 — Работяга...

* * *

Мы строим дом.
И дом растет —
за день пол-этажа.
Как молот, ветер в стены бьет,
морозами дыша.
Бетон вибрирует слегка,
огромный дом гудит.
Над ним несутся облака,
колючий снег летит.
Но кран неслышно и легко
несет наверх панель,
рукой коснувшись облаков
и разорвав метель.
Работаем без суеты,
вздымаем к небу дом.
Мы каждый метр высоты
берем с большим трудом.
И, зимним ветром обожжен,
я думаю о том,
что будет светом и теплом
богат мой новый дом.

ПОНЕДЕЛЬНИК

Говорят шутливо:
«День тяжелый!»
В жилах лень воскресная живет.
Но с утра бегут детишки в школу,
утром я иду на свой завод.

Понедельник — это возвращенье
и начало нового пути,
первая ступенька восхожденья
ко всему,
что ждем мы впереди.

* * *

Наступит день,
настанет час,
напишут сказку и про нас.
Напишут:
«Жили-были,
дышали и любили...»
Так пишем мы о дедах,
так пишем мы о бабах.
Мы помним их победы,
а меньше — те ухабы,
которых было много
на сказочных дорогах.
А надо было б помнить
и радости, и беды,
и то, как кости ломит
у сказочного деда.
Все написать, как было,
найти такие краски...
Но это будут — были.
А внуки любят... сказки.

* * *

Всю жизнь учиться я стараюсь,
решаю трудные задачи.
Порой до истин добираюсь,
терплю порою неудачи.

В трех соснах я порой блуждаю,
порой сквозь лес иду по звездам.
Во сне во многом разбираюсь,
что наяву увидел поздно...

* * *

Вот Рембрандт умирает бедняком,
вот перепахана могила Баха,
вот, заложив последнюю рубаху,
Саврасов тешит сердце кабаком.

Постыдные, крутые времена!
Противоречьями история богата:
так на ее скрижалях пишут златом
бессребреников гордых имена.

* * *

И камнем стать не страшно,
если он
положен в основанье маяка,
в фундамент мельницы,
которая крылом
цепляет дождевые облака.
Не страшно камнем быть:

ведь в зимний час
стеной он стал, защитой от пурги,
от всяких любопытствующих глаз,
что искоса глядят из-под руки.
Из камня можно города сложить,
в которых людям будет звонко петься...
Не страшно камнем стать.
Но страшно жить,
когда в груди окаменело сердце.

* * *

А годы похожи на горы:
крутые подъемы — и вот
стоишь на вершине, которой
название:
«Прожитый год».

Оглянешься — видишь ту тропку,
что в скалах пробита тобой,
где был ты
и смелым, и робким,
и нежным,
и грубым порой.

Посмотришь вперед — за туманом
почувствуешь новый подъем.
И снова тебе неустанно
шагать и шагать
день за днем,
пока...
Надо ль думать об этом?
Стучало бы сердце в груди!
И новых вершин силуэты
встают, как мечты, впереди.

* * *

Девушка в саду стихи читала.
Кончив, долго думала,
молчала,
а потом, расплакавшись, сказала:
«Все поэты врут в стихах своих!»
Видно, сердце у нее щемило...
Только зря так строго нас судила:
ведь поэты — так веками было —
разбивались первыми
о стих.

СЛОВО

Само приходит Слово, как слеза,
и плотно, как кирпич, в строку ложится.
Мой стих, как дом:
он в синеву стремится,
он достает крутые небеса.

В мой дом угрюмо не ворвется ветер,
не разбрасает на клочки тепло.
Все потому, что Слово я заметил,
когда оно неслышно подошло.

Когда бы все Слова в стихи собрать,
я мог бы столько городов создать,
что, может, там бы жить
без бед смогли мы...
Но столько нужных Слов
проходит мимо!

ОГНИ АЭРОДРОМА

Огни аэродрома —
желанные огни.
Для нас дорогу к дому
означили они,
зелеными и красными
дорожками легли
и показались ясными
сигналами Земли:
«Внимание, внимание!
Блуждающим во мгле:
вас в это утро раннее
встречают на Земле!»
Встречают!
Это здорово!
Крылатым или нет —
всегда ты очень дорог нам,
Земли домашний свет.
И лучшего мгновения
не может в жизни быть:
земли прикосновение
всем сердцем ощутить.

Их уже не назовешь девчонками,
 девушками их не назовешь.
 Чистотой и песенностью звонкою
 этот возраст очень уж хорош.

Бегают-летят в коротких платьицах,
 шепчутся о тайном, о своем.
 А мальчишки — хоть, как прежде,
 дразнятся —
 пишут им записочки тайком.

Все им в радость:
 белая метелица,
 радужная россыпь на снегах,
 в счастье бесконечное им верится,
 солнце к ним приходит и во снах.

Им порой взгрустнется ненадолго,
 но и грусть светла,
 мечты чисты.
 Жизнь еще — как ровная дорога,
 полная надежд и красоты.

Перепаханные песком,
 долго строили дети дом.
 Возводили любовно стены,
 ветки в крыше — телеантенны,
 и окошки в стенах пробили,
 чтобы в доме светлее было.
 А потом, убегая домой,
 кто-то дом развалил ногой...
 Дети, дети, как глупо это:
 строить дом для тепла и света
 целый день — а потом разрушить!
 Впрочем,
 чем мы, взрослые, лучше?

Взорвал тишину самолет реактивный,
и вздрогнули нервно леса и поля:
как видно, не в силах привыкнуть земля,
познавшая многие
взрывы и ливни.

За тысячи рек улетел самолет,
за тысячью гор он давно приземлился.
Рассвет тишиной ненадолго укрылся,
он нового взрыва
с волнением ждет.

И вот загудело, запело опять:
метнулась к рассвету
тяжелая птица...
Ах, горькая память!
Как часто не спится.
Отвыкла планета как следует спать.

Разрушенный костел огромный свой скелет
подставил под лучи негреющего солнца.
На белые снега ложится лыжный след,
а солнце вслед за мной торопится,
несется.

У маленькой реки — покой и тишина,
березы льнут к дубам,
как девушки к любимым.
Меня встречает здесь февральская весна —
нежданная весна под небом темно-синим.

Горят вокруг меня веселые огни:
на каждой из ветвей
по собственному солнцу.
Здесь словно все живет предчувствием весны,
которая придет, которая вернется.

И только на горе в отчаянье немом
костел взметнул свои обугленные руки,
как память о войне,
моление о живом,
как боль, с которой быть нельзя в разлуке.

Четыре года он сжигал мосты —
четыре долгих невеселых года.
И падали в разгневанные воды
горящие обломки с высоты.

А по ночам в тревожных снах коротких
одно и то же виделось ему:
как из воды взмывают в синеву
и вновь соединяются обломки.

И человека не было счастливей,
чем он, когда впервые довелось
ему построить в сорок пятом мост
над голубым сверкающим разливом.

Горят рябин веселые костры:
подходит осень к старому солдату...
Но снятся ночью так же, как когда-то,
еще не возведенные мосты.

На площади Победы — тишина.
Спит Минск.

Мерцают грани обелиска.
Стою один у Вечного огня.

Ложится снег на бронзовые листья,
и в свете голубых прожекторов
на барельефах оживают люди...
Мне чудится, что это у костров
внезапная тревога всех нас будит.
Мне тридцать.

С ними быть я не успел.
Но помню, как от станции уральской
составы шли. Звенящая метель
кружилась на перроне в быстрой пляске.
Отец прижался к поручням стальным.
Поют солдаты. А состав грохочет,
и тихо шепчет мама:

«Будь живым!»
Но вьюга зло и бешено хохочет...
Повсюду, где б потом я ни бывал:
в Москве и Бресте, Киеве и Минске,
меня щемящий холод обнимал
у строгих краснозвездных обелисков.
Как будто смертоносный тот свинец,

который взяли на себя солдаты,
вошел занозой в ткань живых сердец,
как боль от ран, как след войны проклятой.
Хранит в себе ту боль моя страна,
и каждая семья скорбит о близких...
На площади Победы — тишина.
Спит Минск.
Мерцают грани обелиска.

II. ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

Иногда мне кажется:
детства я не знал.
К худенькой спине его
долго был приставлен
вороненый,
жалящий,
ледяной металл...
Чувствую всей кожей я
холод этой стали.

Названия теперь я не припомню —
ведь в сорок первом было мне лишь пять...
Нас, беженцев, в деревне рядом с Волгой
однажды разместили ночевать.
Я вместе с мамой к старикам попал.
Хозяин во дворе все хлопотал,
с хозяйкой мама отошла куда-то.
А день шел к необычному закату:
без свиста паровозов,
без гудков,
без ругани, без плача, без проклятий...
Жужжанье пчел, безмолвье облаков.
Был этот тихий час мне не понятен!
И я сидел устало на скамейке —
бессильный, равнодушный старичок.
Хозяин в полосатой кацавейке
вдруг подошел:
«Ну, как дела, внучок?
Да, отоцал ты страх...»
И он рукою
провел легонько по моей щеке,
такую жесткой,
твердую такую,
как будто терка пряталась в руке.

«Идем-ка в хату!»

И покорно следом
я в хату полутемную вошел,
поверив почему-то сразу деду,
что все на свете станет хорошо.

И сел я у стола.

Хозяин вышел.

Скреблись под лавкой тихо-тихо мыши.

Вернулся дед.

И чудо мне принес:

на стол поставил блюдце с медом чистым,
пахучим,

сладким,

солнечно-лучистым.

«Едай, внучок! Иди, как надо, в рост!»

Я хлеб макал и кушал осторожно,
чтобы и каплю даром не пролить,
и не спешил, стараясь, как возможно,
подольше удовольствие продлить.

А съел — и вдруг заплакал, спохватившись,
что маме не оставил сладкий мед...

Старик меня погладил:

«Тише, тише,

не плачь, внучок... Как только мать придет —
нальем и ей тогда мы блюдце меда!»

...С тех пор промчались незаметно годы.

Что б ни было со мной — тот мед во мне.

Я вспоминаю часто в тишине

тот год,

тот мед

и той руки шершавость
и над любой бедою поднимаюсь.

А тихий голос деда недалек:

«Едай, внучок!

Расти, расти, внучок!»

НАВОДНЕНИЕ

Тобол разлился,
как взбесился,
на город бурно устремился,
пошел по улицам гулять,
подкрался не спеша к детсаду,
пролез неслышно под ограду
и к дому начал подступать.
Вода все выше,
 выше,
 выше,
а мы — все к тете Кате ближе.
И кто-то вскрикнул.
И тогда
запела тетя про рябину,
склонившуюся возле тына...
За дверью булькала вода.
Мотиву тихому поверив,
мы успокоились чуть-чуть.
Вода, блестящая, как ртуть,
уже была под самой дверью,
когда, ворота распахнув,
во двор детсада... лодки вплыли!
И тетя, тяжело вздохнув,
заплакала :

«Не позабыли...»
И нас по улицам везли,
смешно и весело нам было:
ведь мы по улицам тем плыли,
где утром по брусчатке шли.
И начинали хохотать мы.
Нам вторил тихий смех гребца.
Молчала только тетя Катя
и всхлипывала без конца...

ПОХОРОННЫЙ ЛИСТ

Мы строили из снега во дворе
огромные искрящиеся «доты».
И было высшей радостью в игре,
когда тебе доверят «пулеметы».
И прежде чем игру свою начать,
мы спорили до хрипоты порою:
старался каждый как-то доказать,
что должен он командовать игрою.
А в этот день игра не удалась:
мы у крыльца стояли и молчали —
из-под Москвы в то утро в первый раз
к нам похоронный лист во двор прислали.
Единственный мужчина во дворе —
старик Егорыч — объяснял уныло,
что Толькиного папу в декабре
в бою фашисты под Москвой убили.
Нам это трудно было осознать.
И мы сквозь стекла тусклые глядели,
как Тольку, плача, обнимала мать,
а бабка колотилась на постели.
Нет, мы ничем помочь им не могли.
Но вдруг мы по отцам затосковали:
так захотелось, чтоб они пришли,
чтоб больше никого не убивали!

Нам так хотелось видеть их, живых!
Мы верили:
придет победа вскоре...
Но был наш двор не лучше всех других,
еще не раз к нам приходило горе.

КАРТОШКА

В поле, ветреном и голом,
за рекою за Тоболом,
переплыв Тобол на лодке,
мы на выделенных сотках,
перекопанных лопатой,
теплых,

мокрых,

кочковатых,

садим раннюю картошку.

Дождик моросит немножко.

Каждый клубень аккуратно
разрезаем на куски.

Быть должны в куске, понятно,
почки — белые «глазки».

Мама говорит, что надо
тем ученым дать награду,

кто научно доказал,

что достаточно куска,

чтоб из каждого глазка

куст картошки вырастал.

Как иначе обойдешься?

Где тут клубней напасешься?

Мы и так уж три недели

лишь жмыхи да семки ели...

Режем клубни на куски
и землей их присыпаем,
словно близких мы теряем
у Тобола,
у реки.

НЕЛЛО

Это было зимой сорок третьего года.

Было холодно.

Была в окно непогода.

Мерзли стены.

Лишь в центре комнаты нашей
возле печки-буржуйки чуть было теплей.

И у дверки открытой смотрел я, как пляшут
языки беспокойных уютных огней.

В этот вечер я книгу открыл у буржуйки.

Еле-еле мерцал угасающий свет.

Я читал.

Не от холода было мне жутко,
не от стылого воздуха комнаты — нет!

Просто мальчик-художник по имени Нелло,
замерзающий где-то в холодной ночи,
и Патраш — добрый пес,

и рыданье метели —
все так било в меня,

что хоть криком кричи,

беспощадно и зло,
ранив душу и тело.

На буржуйке румянец уже угасал...

Ночью мама с работы пришла. И о Нелло
я, рыдая навзрыд, тут же ей рассказал.

А она, утешая, твердила упрямо:

«Все ошиблись, сынок!

Живы, живы друзья!»

И тогда я поверил не книге, а маме —
и понине убить эту веру нельзя!

Я лежал успокоенно, слушая маму,
за стеной шелестела метель без конца...

То ли мама шепнула,

то ли скрипнула рама:

«Что-то долго нет писем,

сынок, от отца...»

ОРС

Это теперь я знаю, что
ОРС — отдел рабочего
снабжения. А тогда...

По праздникам два раза в год
нам ОРС талоны выдает:
на рубашонку, на калоши...
Какой же этот ОРС хороший!
Я представлял себе, что ОРС —
высокий добродушный дядя,
одетый, словно на параде,
и слово «ОРС» любил как «морс».
И я своим друзьям кричал:
«Ура, мне ОРС калоши дал!»
А мне в ответ кричат они:
«Мне ОРС дал туфли!»,
«Мне — штаны!»
Калоши так блестели ярко!
И если встречу ОРСа, то
скажу:
«Спасибо за подарки,
но подари мне, ОРС, пальто!»
И ОРС пальто, конечно, даст.
Однажды мама мне, смеясь,
сказала:
«Нам костюм дают.
Идем, сынок, нас в ОРСе ждут».

Идти немало нам пришлось.
Нас ветер продувал насквозь.
И мы, продрогшие, вошли
в барак. И хмуро тетя злая
костюм какой-то принесла нам,
весь в нафталиновой пыли.
Костюм мне примеряла мама.
А я все спрашивал упрямо:
«Где ОРС? Где ОРС?» —
«Да вот он, тут!»
Ну нет, меня не проведут!
Не маленький!
И, выбрав миг,
я в глубину барака — шмыг!
Но там лишь полки, полки, полки...
Так ОРСа я не повидал.
ОРС, видимо, меня не ждал.
«Какая злая тетя!» — колко
в отместку ОРСу я сказал.
«Ну что ты, сын, она не злая!»
А просто почта принесла ей
лист похоронный...»
Вот так да!
У ОРСа, стало быть, беда.
Я шел, притихший и продрогший,
блестели черные калоши...

СКАЗКА

Два пряника — два ароматных чуда.
Два пряника, пахнущих медом и мятой.
Мы просто не верили:
«Мама, откуда?»
А мама смеялась:
«Из сказки, ребята!»

Из сказки!
Конечно, тогда, в сорок третьем,
только из сказки могли появиться
в маминой сетке пряники эти:
два щедрых подарка от доброго принца.

Домой мы за мамой бежали вприпрыжку,
мы с маминой сетки глаз не спускали...
Но вдруг подскочили большие мальчишки,
сетку схватили — и убежали.

И солнце расплылось соленой кометой,
растаяли пряники, словно сны...
Вот так и окончилась сказка эта —
одна из немногих сказок войны.

ТОЛКУЧКА

Была она шумна,
воскресная толкучка.
Была она бедна,
как мамина получка:
меняли хлеб и соль
на мыло и портянки,
на гречку и фасоль —
свиной тушенки банку,
солдатское белье —
на часики-штамповку...
Здесь разное жулье орудовало ловко.
Торговая война,
где каждый что-то просит.
С утра и дотемна
толпы разноголосье.
Лишь в дальнем уголке
толпа слегка стихала:
плечистый дед в руке
держал не вещь, а сало:
чуть розовый бекон!
И здесь, слюну глотая,
отчаянно на кон последнее кидали:
рубаха — полкило,
жакет — кило, не меньше.

Прозрачны, как стекло,
 глаза усталых женщин.
 А за стеклом — тоска,
 а по стеклу — дождинки:
 не сало от куска —
 последние ботинки.
 Но выдержать соблазн легко ли?
 Кто осудит?
 Наестся хоть бы раз —
 а там уж будь что будет!
 А мне-то что менять?
 Мне ночью снилось сало...
 По выходным опять
 я мчал сюда, бывало,
 смотреть на шум да крик,
 людей круговороты...
 «Ты спекулянт, старик!» —
 скрипит зубами кто-то.
 А деду хоть бы что!
 Не вытерпев, однажды
 я снял свое пальто
 с отчаяньем отважным
 и, съежившись, — мороз! —
 к нему пошел скорее.
 (А жаль пальто до слез:
 хоть старое, да греет.)
 Дед повертел пальто
 и мне вернул обратно...
 Я понял, что никто за старые заплаты
 мне сало не отдаст.

Черт с ним,
 с проклятым салом!
 Но что-то в этот час
 в душе моей восстало,
 я крикнул: «Мироед!
 Кулак!
 Фашист проклятый!»
 И вдруг увидел: дед качнулся виновато,
 стал что-то бормотать
 о внуках, о невестке,
 стал сало мне совать...
 Я повернулся резко.
 И вот уж сколько лет
 толкучку ненавижу,
 где ради внуков дед
 снял одежду с ближних...

ИРКА

Ирку «санитаркой» назначали.
И ползла под «пулями» она,
ничего вокруг не замечая,
состраданья к «раненым» полна.
На боку у «санитарки» сумка,
две косички по земле ползут.
Только упадешь на землю в шутку —
маленькая Ирка тут как тут.
Перевяжет грязными бинтами —
то не грязь, конечно, кровь видна!
Йодом смажет ссадины и раны,
вытащит любого из «огня».
В Ирку все, наверное, влюблялись,
потому что, старше становясь,
«ранеными» чаще притворялись,
чаще каждый с криком падал в грязь.
Раздирая на чулочках дырки,
состраданья к «раненым» полна,
потная взъерошенная Ирка —
ничего не видела она!
Так играла, словно в самом деле
умирали все мы в этот час,
словно канонады и метели
в самом деле рушились на нас.

Черными обвязаны бинтами,
уходили мы от Ирки в «бой»,
имя этой девочки, как знамя,
как надежду, унося с собой.
...А потом квартиру Ирке дали,
со двора уехала она.
Больше мы «боев» не затевали:
во дворе окончилась «война».
Дождь ли шел,

иль солнце в окна лилось,
иль метели плакали во мгле —
долго «санитарка» Ирка снилась —
две косички тонких по земле...

* * *

Когда над детством пошатнулось небо
и рухнуло со звоном с высоты —
я вдруг узнал, что счастье пахнет хлебом,
надеждой — писем мятые листы.

Давно уж солнце в чистом небе светит.
Но, чтобы мир беспечный не ослеп,
настойчиво рассказываю детям,
каким высоким счастьем пахнет хлеб.

* * *

Уходят в небытье домишки кособокие,
где в детстве жил и я,
и все мои друзья.
Взамен хибар вокруг —
одни дома высокие,
тот деревянный мир
спасти уже нельзя.
Да и зачем спасать?
Расти, не знай усталости!
Мой город краше стал,
все молодо кругом.
Да я и сам, пройдя
сквозь горести и радости,
над детством вышусь,
как многоэтажный дом.

БЕРЕЗА У ШКОЛЫ

1

Имена погибших на березе
вырезали школьники-галчата.

На березе выступали слезы —
капельки весеннего заката.

К маю сорок пятого так тесно
от земли до веток буквы стали,
что для новых не осталось места.

В День Победы долго мы стояли
у березы...

И слезились буквы.

Мне в тот светлый час казалось, будто,
наклоня ветви виновато,
плакала береза о солдатах...

2

Возле школы сына есть березка —
белый ситец в серую полоску.
Гладкая кора ладони греет,
из окна — веселый школьный шум...

Почему хочу я поскорее
убежать от невеселых дум?

Все терзает дума: слишком много
места на березовом стволе.

Мальчики, от школьного порога
долго ли шагать вам по земле?

3

Буквы влажно на стволе мерцали...
Неужели ТО опять пришло?

Прочитал:

«Сережа любит Валю» —

и от сердца сразу отлегло.

Хоть и тяжкий грех — березу резать,
признаюсь: не ощутил я зла.

Только бы березка возле школы
памятником павшим не была!

Облака над крышами летели,
вылезали клейкие листы.

Шла весна,

шел праздник красоты,

дети шли из школы по апрелю.

Им весна навстречу посылала
солнце,

теплый ветер,

ручеек...

Я читал: «Сережа любит Валю».

Выступал из букв
прозрачный сок.

* * *

Когда осенний лист багровый
разбросан по земле сырой,
тогда мне кажется порой,
что тихий лес обрызган кровью:
так густо надо окропить
всю землю, чтоб листва горела,
чтоб даже осень не сумела
дождями алый отблеск смыть.
Когда снега в единый миг
укроют землю покрывалом,
услышав ветра стылый крик,
рябина вспыхнет цветом алым.
И этот цвет живучий вновь
над белым пламенем взметнется.
Алеют ягоды, как кровь,
а снег несется, снег несется...
Кто алым окропил, когда?
Смотрю на снег — и вдруг немею:
под ним, прозрачным, как слюда,
окопы старые чернеют.
И мудрость русской сказки вновь
постигну я умом и сердцем:
где капелькой упала кровь,
восходят алые соцветья.

III. АКВАРЕЛИ

Акварели мои — краски ночи и дня.
Рано утром, когда еще дремлют леса,
поднимается солнце и будит меня,
и тогда начинаются все чудеса:

ненасытно гляжу на румянец зари,
изумрудные травы в росинках-алмазах.
Летней ночью положенный ультрамарин
на мольберте небес перекрасится сразу.

Акварели мои — краски ночи и дня.
Проплывают над берегом синие тучи,
и прозрачна вода до песчаного дна,
и березы взбегают на белые кручи.

Все знакомо давно.
А привыкнуть нельзя.
И поэтому счастлив я каждое утро:
я живу на земле, что ласкает глаза
и расцвечена щедро, умело и мудро.

* * *

Шагай от электрички вправо —
и приведет тропа туда,
где в изумрудную оправу
алмазом вставлена вода.

Переливаясь чистым светом,
шуршит озерная волна,
такую радостью полна,
что ты почувствуешь себя
огнями щедро обогретым.

Лес заворуженно молчит:
игра волны — гипноз великий.
Роняя солнечные блики,
к тебе здесь счастье подбежит,

и вновь вернется чувство то
веселья,
юности,
свободы.

И с плеч все прожитые годы
слетят,
как зимнее пальто.

* * *

Уселся март, как грач,
на ветке тонкой.
За лесом — электрички голос звонкий:
уехать в город нас зовет она.
И надо бы до темноты вернуться,
но как уехать,
если здесь — весна
и можно к ней щекою прикоснуться?

ГРАЧИ НА ВЫРУБКЕ

Напоено теплом начало марта.
По вырубке меж пней бегут ручьи.
На пнях, как будто школьники на партах,
весь день кричат и прыгают грачи.
Быть может, в отчий лес вернувшись с юга
и не найдя своих уютных гнезд,
они стремятся высказать друг другу,
как им тоскливо без родных берез?
А может, ничего грачи не помнят:
найдут себе другие уголки...
Важней для них,
что между пней сегодня
играют, серебрятся ручейки.
Весной все чище, радостней и проще...
Я слушаю веселый птичий гам,
и верится, что вновь поднимет роща
березовую радость к облакам.

Дождя счастливое мгновенье,
 когда я мог
 в апрель вбежать
 и водосточных труб колени
 на улицах пересчитать,
 когда под песни капель звонких
 я мог по лестнице взлететь
 и в чистые глаза девчонки,
 как в воды вешние,
 глядеть...

Мне сладок воздух твой, сосновый бор!
 С тобою дружен я с тех давних пор,
 когда — еще мальчишкой остроглазым —
 с друзьями, а порою и один
 я на вершины, словно белка, лазил
 и видел сверху
 тысячи картин:
 за лесом — поле,
 за полями — город,
 за городом — далекие леса.
 И не смолкали дотемна над бором
 и радовали птичьи голоса.
 Я видел: солнце скатывалось в чащу,
 а утром первым я его встречал.
 Ты был мне другом,
 верным, настоящим,
 и я тебе любовью отвечал.
 И до сих пор с тобой дружны мы очень.
 И сыновей я привожу сюда:
 пусть дни твои и голубые ночи
 они, как я, полюбят навсегда.
 Пусть над землею посидят, как птицы,
 пусть даль земли увидят с высоты,
 пусть в городе им ночью тоже снится
 сосновый бор — край хвойной красоты.

В недобрый час, когда мне будет худо,
пусть память мне поможет вновь и вновь!
Ведь знал и я
великую любовь,
способную из прозы сделать чудо,
вдруг из мужчины сотворить дитя,
особый мягкий свет разлить повсюду,
преобразить в поэзию, шутя,
и шелест листьев,
и мытье посуды.

«Люблю!» — скажу я сотню раз.
Но ты не привыкай, пожалуйста!
Да будет это слово радостью,
огромной радостью для нас!

«Люблю!» — я тихо говорю.
Но ты не привыкай, любимая!
Пусть слово то неповторимое
подарит нам с тобой зарю,

пусть солнце превратит в луну,
луну — в рассвет,
рассветы — в полдни,
когда лицо в твои ладони,
счастливый,
молча окуну...

* * *

Не смел никто другой
тебя заметить,
умчать тебя за россыпи дождей!
Я должен был тебя однажды встретить
и навсегда похитить у людей.

И встретил!
И похитил всем на зависть,
и берегу...
А дни стремглав летят,
и утро щедро мне приносит радость:
твою улыбку,
твой лукавый взгляд...

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ

Медовый месяц — царство полумглы,
симфония ликующего света.
В нем незаметны острые углы,
а может, острых граней вовсе нету.
Еще — ни скучных дел,
ни мелочей,
и будни — праздник солнца и улыбки.
Медовый месяц — голубой ручей,
в котором только золотые рыбки.
Но дни бегут.
Шумливого толпой
подходят к нам заботы,
мир объемля...
Я чувствую с печалью:
мы с тобой
тихонько опускаемся на землю.

БУДЬ!

Будь, любовь, неотступной,
мучительной,
в бездну брось,
вознеси до туч,
животворной будь, ослепительной,
как весеннего солнца луч!

От рассвета и до заката
ты, любовь, не бросай меня,
сделай тело мое крылатым,
слову дай теплоту огня.

Будь слезами
и будь улыбкой,
ничего для меня не забудь,
дай находки и дай ошибки...
Что бы ни было —
слышишь? — будь!

В ТВОИХ РУКАХ

В твоих руках — чарующая сила.
Так хорошо всегда с тобой мне было,
такие приходили к нам слова!
А за окном дожди к земле летели,
кружились тополиные метели.
(А может быть, кружилась голова?)

И руки нежно по плечам скользили...
Они меня над миром возносили —
и птицей я себе казался вдруг —
счастливой,
быстрой, неустанной птицей,
которая к судьбе своей стремится,
не замечая ни дождей,
ни вьюг...

Занятый работой,
 суетой,
 вечными семейными делами,
 вдруг с какой-то горькой остротой
 ощутил:
 как мало был я с вами,
 синие еловые леса,
 хохотун-ручей,
 ночные звезды!
 Надо слушать мне, пока не поздно,
 ваши песни,
 ваши голоса.
 Ведь потом, в грядущие века,
 никогда я не увижу больше,
 как над лесом ветерок полощет
 в чистом синем небе
 облака...

Еще стволы — в густом тумане,
 и сонно жмурятся поляны,
 и лес пронизан холодком.
 Но утро набирает силы,
 и вот уж солнце заскользило
 по лужам, тронутым ледком.

Я поднимаю лист кленовый
 с травы —
 и удивляюсь снова
 рисунку инея на нем:
 как будто ювелир искусный
 собрал серебряные бусы
 и к меди припаял огнем.

А в бусах — радуг переливы.
 И тени прячутся пугливо.
 Туман опал.
 Совсем светло.
 Бесшумно пролетают листья,
 а на душе — легко, и чисто,
 и по-весеннему тепло.

* * *

Шинкуем капусту.
Белый кочан
режем с хрустом,
а стружку — в чан.
Сыплем морковку —
багровые искры.
Летят по шинковке
кочаны чистые.
Еще за окнами
солнце горячее,
а сердце екает:
кажется, прячем
(чтоб зимой причаститься
к солнцу) в чан
солнца частицу —
белый кочан.

* * *

Вот снова осень за окном,
а я еще наполнен летом,
как виноград наполнен светом,
как белое вино — теплом.
Вокруг шершавый листопад,
и наплывают тучи грозно.
А мне все чудится, что звезды
со звоном на меня летят...

Цепляются туманы за деревья,
 спускаются туманы на деревни,
 ползут они над тихими полями,
 как белый сон, плывут над тополями.
 Все невесомым кажется и странным...
 Вот и подкралась осень тропкой тайной,
 развесила тумана паутину,
 как марлей, занавесила картины:
 чуть тлеют краски под холодной марлей.
 Вот пень стоит, как одинокий карлик,
 под черной шапкой из листвы опавшей.
 Нет у него сегодня.
 Пень — вчерашний:
 все за туманом, в прошлом все осталось.
 Туман — земли душевная усталость.
 И только я один сегодня знаю,
 что где-то ветер крылья поднимает,
 и скоро разбегутся прочь туманы,
 и снова вспыхнут золотом поляны,
 и мир заполнят радостные краски...
 Туман — не смерть.
 Туман — ночные сказки.

Палатка, отсырев,
 качается устало.
 Чайком себя согрев,
 под ливнем листьев талых

 мы у костра грустим
 о лете убежавшем.
 И едкий теплый дым —
 как память о вчерашнем —

 бредет среди берез,
 сидит на пнях корявых,
 как прядь седых волос,
 лежит на жухлых травах.

* * *

В последних днях перед зимой
есть удивительная нежность:
в березах тонких — свет и свежесть,
а в соснах — запах смоляной.

Сырая волглая листва
устало хлюпает под кедом,
бредет туман за мною следом,
и в строки вяжутся слова.

Люблю ноябрьские рассветы,
их невесомость, тишину,
в тумане — белую луну
и пни в сиреневых беретах.

Леса встревоженно молчат,
лишь от рассвета до заката
неунывающие дятлы
по-майски весело стучат.

СМОТРЮ СТАРЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ФИЛЬМ

1.

Как сон, как золотую рыбку,
как песню в летней тишине,
так и экран твою улыбку
вернул на две минуты мне.
И той лавины беспощадной,
тебя забравшей, вовсе нет,
ловлю твою улыбку жадно
и сам смеюсь тебе в ответ.

2.

Нынче сам я — Мастрояни:
появляюсь на экране
и загадочно, и странно
на себя смотрю с экрана.
Я совсем не постаревший,
бородатый, загоревший,
на скалу шутя залезший,
молодой веселый леший.
Но глаза мои грустны!
Тучи дальние грозны,
наплывают на экран,
застилают, как туман,
убивают, как обман.

На себя гляжу я сам,
словно на вершине лет
отыскал знакомый след
и задумавшись стою —
сам себя не узнаю.
Я иной.
Любимой нет.
Нет весны.
Включаю свет.

ГИТАРА УМОЛКЛА

Светлой памяти Арика
Круппа, Володи Скакуна и
других ребят, погибших в
Саянах.

Гитара звенела. Стучали колеса.
Бежали деревья за поездом вслед.
Летела поземка по белым откосам,
и лес по макушку был снегом одет.
Гитара звенела. Все ближе Саяны:
на снежных вершинах — неяркий рассвет.
Там кедры, качаясь, шумят неустанно,
пурга замечает проложенный след.
Есть счастье дороги.
Есть горечь дороги.
Любимых глаза уплывают в туман.
А ящик почтовый висит на пороге,
пустой, как скорлупка,
слепой, как обман.
Саяны, Саяны, откройте ребятам
ущелья свои и свою красоту...
Упала гитара!
По склонам горбатым
лавины, как волки, бегут в пустоту.
Над белым безмолвием ночь зашаталась,
и день, задыхаясь, по склонам уполз.
Умолкла гитара.
А песня осталась!

И песне не страшен саянский мороз.
В той песне апрель нас за лыжи хватает,
зовут нас восходы из тесных квартир,
и звезды над лесом призывно мерцают,
и каждого ждет удивительный мир.

...В сугробах высоких лыжня затерялась,
поднялся над нею безмолвный восход...
Гитара умолкла.
А песня осталась!
А песня над нами призывом плывет.

* * *

Здесь излома угольный фламастер
выписал над льдинами зигзаг.
Здесь холодный ветер, будто ястреб,
караулит твой неверный шаг.
Здесь на скалах чуть ослаб — и горы
в миг единый справятся с тобой,
загудят, как бешеный прибой.
И тогда лишь друг — твоя опора.
Почему о дружбе так боимся
говорить, смолкая каждый раз?
Словно перед другом мы стыдимся
слов высоких и красивых фраз.
Разве эта сдержанность мужская
помогает нам в нелегкий час,
в миг,
когда лавина льда, сверкая,
воздух, как сирена, рассекая,
с телом друга с кручи унеслась?

Мир красок:
 синий отблеск льда,
 камней зеленых ожерелье,
 и белой лентою в ущелье
 навеки вплетена вода.

Мир звуков:
 ровный шум воды,
 плач ветра, сжатого тесниной,
 и с треском рушатся лавины
 с вершин на камни и на льды.

Мир сказок:
 грани хмурых скал
 напоминают замков стены.
 У камня — необыкновенный,
 почти драконовский оскал.

Блуждая у вершин седых,
 находим радость мы и горе.
 Вселенную вместили горы —
 и мы за это любим их.

Мой адрес — горы. Дом мой высоко:
 его венчает белых туч корона.
 Я от тебя уехал далеко —
 за тысячи обветренных перронов.
 Здесь лето очень жарким удалось,
 здесь, словно домны, пышут жаром скалы.
 На горных склонах солнце разлеглось,
 и ледники горят в закатах алых.
 Но в сумерках спускается туман,
 все накрывает влажным одеялом.
 И по ночам пытается Баксан
 плотней прижаться к подогретым скалам.
 Но холодно ему. И он дрожит,
 и лязгает камнями, как зубами.
 А наш костер страдает и шипит,
 и соль тумана лижет языками.
 Я согреваюсь около огня
 и напеваю песню потихоньку,
 и синими глазами на меня
 все время смотрит милая девчонка.
 В ее глазах играют сто чертей...
 Но только одного она не знает:
 за тысячи перронов и дождей
 меня любовь к тебе лишь возвращает.

* * *

Баксан ущелья гулким ревом будит,
кипит, кидает пену на гранит
и торопливо что-то говорит,
но эту речь не понимают люди.

А я к нему прислушался — и вот
я понял, что река тоскует страстно
по леднику, который в небе ясном,
как облако далекое, плывет.

Река ныряет в темные колодцы
и гневно к небу брызгами летит,
чтобы водой своей залить зенит
и погасить безжалостное солнце.

Я засмеялся: гнев туманит нас.
И я сказал реке: «Не злись напрасно!
Когда бы солнце навсегда погасло —
и ты, река, исчезла б в тот же час».

РАССВЕТ

Вот и рассвет.
Сильна его рука:
она с вершин сдирает облака.
Мрак рвется на куски и опадает,
палатку ветер яростно шатает,
а камня индевелая щека
серебряной чеканкою сверкает.

Вот и рассвет.
Ползет в ущелье ночь.
И ручеек, звеня, несется прочь,
и плеск воды, как колокольчик, звонок.
День быстро набирается силенок,
и солнце — расшалившийся ребенок —
идет наверх,
на горный пик точь-в-точь
и нам спешит своим теплом помочь.

Что говорить...
Прекрасней часа нет,
чем час, когда растаяли тревоги,
когда мы вновь готовимся в дорогу,
когда встает над скалами рассвет.

Неугомонна Ингури.
 Вода под скалами грохочет,
 фосфоресцирует, хохочет
 и убегает в час зари
 к чужому морю голубому.
 Ей не вернуться в царство скал...
 Я счастье вдалеке искал,
 тоски не ведая по дому.
 Но вот, на скалах отзвенев,
 осилив сотни гроз палящих,
 в дороге трудной намотавшись,
 познать беду и боль успев, —
 я знаю: после всех тревог
 есть удивительная радость —
 преодолев свою усталость,
 вернуться на родной порог.

1.

Извечное сраженье быстрых вод
 в союзе с ветром
 против скал гранитных.
 И рушатся обвалом монолиты —
 лишь вздрагивает хрупкий небосвод.
 Минуты битвы сложатся в века,
 века — в тысячелетия.
 Однажды
 пик, что цеплял вершиной облака
 и звал к себе мечтателей отважных,
 исчезнет, станет грудой камней...
 Но магма закипит в негодованье —
 и задрожит планета.
 И над ней
 взойдет вершины новое сиянье
 и снова человека позовет,
 и человек призыву отзовется.
 Большой Каньон —
 сраженье быстрых вод
 со скалами, нагретыми на солнце.

2.

И чиста вода,
 и ласкова —

так и гладит, так и нежится.
Возле камня звонко плещется,
убаюкивает сказками.
Свет — форелями по доньшку,
солнце кружится над реками,
а поток клюет по зернышку,
рвет от камня по молекуле.

3.

Полутона отброшены куда-то:
здесь зелень первозданно зелена,
не может чище быть голубизна,
прозрачнее вода на перекатах.
Полутонов и я лишаюсь сам,
как будто мир — из самых чистых красок,
как будто он лишился всяких масок,
подвластный только синим небесам.
Отброшены и радости, и горечь.
Я — птица,
камень,
солнце и вода.

Не к этому ль стремился я всегда:
в природе раствориться, словно в море?
Но беспощаден и ко мне закон:
я только человек,
мне надо к людям.
И я уйду.
Но радостью мне будет,
что на планете есть Большой Каньон.

ЧАТЫР-ДАГ

Неторопок и труден шаг,
но вершина все ближе и ближе.
И возносит меня Чатыр-Даг
на покатую крымскую крышу,
а к зениту, как кот на чердак,
пробирается
шар ярко-рыжий.

Облака наплывают вдруг,
и в тумане земля исчезает.
Ничего не осталось вокруг,
только белые струйки сползают
и текут, как вода из рук...
Где земля?
Где же небо?
Не знаю...

Только чудится: здесь, на вершине,
на носках приподнявшись слегка,
я руками стряхну облака, —
небо станет безоблачно синим,
и земля — как она далека! —
вдруг откроется солнечным ливням.

И, прозревший, увижу я вновь
акварельные крымские горы,
алых маков весеннюю кровь,
за Алуштой искристое море
и — над Крымом — родные просторы,
Беларусь — мою жизнь и любовь.

ГОРНАЯ ТРОПИНКА

Тропинка горная — погоня
за далью и за высотой.
Взбежав по осыпи крутой,
она в озерах синих тонет,
цепляется за ребра скал,
за берега речушки быстрой,
теряется во льдах искристых,
взбирается на перевал.
Ты хочешь отдохнуть...
Но там,
как за неожиданным поворотом,
другие дали и высоты
откроются твоим глазам.
И позовут тебя к себе...
И ты пойдешь на зов их властный,
в ладони собирая счастье,
рассыпанное
на тропе.

* * *

Мы все стремимся к новым городам,
нас манят не знакомые нам страны.
Уходим мы в дорогу неустанно,
как будто счастье затерялось там:
в лесах,
 в морях,
 у горных скал отвесных,
среди облаков,
 на тропах тех планет...

Но вдруг
в знакомых звуках старой песни
и в пушкинской строке,
давно известной,
находим счастья негасимый свет.

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Проснувшись, слышу, как скребет
под окнами лопата дворника,
и, словно луч окно затворника,
вдруг осенило: «Снег идет!»

Вскочил — и бросился к окну.
И в самом деле снег на улице,
и окна близоруко щурятся
в его густую пелену.

Скорей на улицу, пока
машины и лопаты быстрые
не разогнали эти чистые,
нетронутые облака,

чтоб, начисто забыв слова,
стоять у тоненького деревца,
смотреть, как в белой дымке светится
еще зеленая листва.

* * *

А снег все падает и падает.
Его густая пелена
сплелась, как сеть, вокруг меня,
но не гнетет,
а только радует.
Весь город снегом обновлен,
холодным душем наслаждается,
как будто заново рождается
в неярком свете полдня он.
Все перевозданно в этот час:
и снег, упавший мне на плечи,
и ты, идущая навстречу,
и сеть,
опутавшая нас.

* * *

Антоновка к зиме совсем дospelа.
В ней — летний сок и летний аромат.
На белом фоне яростной метели
меж рам янтарно яблоки горят.

Гляжу на них —
и вспоминаю август,
сады над речкой, яблоко луны,
на берегу — немые валуны
и наших встреч таинственную сладость.

* * *

Кувыркнушь через голову в снег,
засмеюсь от прохлады пушистой,
на сугробе, нетронута чистом,
напишу:
«Счастлив будь, человек!»

И пока все метель заметет,
пробегая, случайный прохожий
засмеется и станет моложе,
если надпись мою он прочтет.

ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ

Как сердце, в ручейке
пульсирует вода.
Зима ее не в силах заморозить,
над ручейком безмолвные березы
стоят, как изваяния из льда.

Ни ветра, ни движения кругом —
я в сказочном уснувшем королевстве...
Возможно,
я и сам замерз бы, если б
не услышал,
как бьет живое сердце
лесного ручейка под синим льдом.

* * *

Темнеющее небо над домами —
осколок темно-синего стекла...
А высоко над городом,
над нами
весна на крыльях аистов несла.

Не рассчитали расстоянья птицы
и, на ночь глядя, оказались вдруг
над городом, где окна, как зарницы,
тревожно загораются вокруг.

И аисты устало продолжали
свой путь,
не зная ничего о том,
какими их глазами провожали
и каждый человек,
и каждый дом.

ЗАПАХ СИРЕНИ

В сумраке,
когда особенно сильно пахнет сирень,
я выхожу из дома
и направляюсь к мосту,
где несколько раз мы встречались с тобой.
Спокойно струится вода,
и руки в нее опустили плакучие ивы,
и капля воды на ветке
блестит, как стеклышко простенького

колечка

на твоём пальце.
Потом зажигаются звезды.
А я вспоминаю тебя.
Над сонной рекой воздух наполнен сиренью.
И запах ее опьяняет меня —
запах, неуловимый, как память,
счастливый, как давние встречи,
и грустный,
как история нашей короткой любви.

Взбухает лед,
ломается со звоном,
кружась, несется по течению вниз.
И воздух, полный синего озона,
над берегами куполом повис.

Оттаявшие сонные осины
стоят немой толпой на берегу...
Дышу — и надышаться не могу,
гляжу — и наглядеться я не в силах.

Просмоленные днища плоскодонок
чернеют, призывая в первый рейс.
А мир вокруг наполнен синим звоном,
как будто бьет весна в сигнальный рельс.

* * *

Деревья нежно зеленеют в мае,
потом, как юность,
расцветают щедро,
и завязь образуют где-то в недрах,
и к небу на руках ее вздымают.

Плодам румяным отданы все соки...
Все ближе, ближе осень.
Сад седеет,
и вот под зимним небом невысоким
деревья помертвевшие чернеют.

Путь схож с моим.
Но параллель напрасна:
моя весна, увы, неповторима.
А дерево — лишь снег промчится мимо —
вновь начинает жизни путь прекрасный.

Ночной музей.

Таинственность теней,
немые взгляды, шепот темных красок,
глубокие глаза холодных масок,
прозрачность теплых городских огней.

Я представляю:

в этом мире странном,
где волны не утихнут никогда,
где постоянны солнце и туманы,
где вечен поцелуй и вечны раны, —
в нем никуда не движутся года.

Здесь молоды столетние мужчины
и дамы не стареют сотни лет,
а мальчик смотрит весело на свет
(хотя его давно на свете нет)...

А все же время не щадит картины:
бегут по краскам трещины-морщины,
подобье невесомой паутины,
веков прошедших неизбежный след...

Мечтаю побродить в ночной тиши
по залам, где толпа меня кружила,
где многое меня заворожило,
уснувшее во мне растормошило
и незаметно сна меня лишило,
спокойствия и ясности души...

Не обращу во зло
ни слово, ни дела —
пусть никогда они
не ранят чьи-то души,
не станут сердцу леденящим душем
иль сухойейной горечью тепла.

Не обращу во зло
ни силу рук моих,
ни гибкость мысли,
ни бокал искристый —
пусть станут дни мои
потокотом чистым,
пусть чью-то жажду
утолит мой стих!

Зеленая маковка силосной башни,
дожди, шелестящие ночью по крыше,
осенняя строгость умолкнувшей пашни,
последнее золото леса...

А выше —
огромное небо, холодное небо...
Неужто ушла моя молодость в небыль,
и крылья устали,
и песни умолкли,
и дымкой туманов затянуты стекла?
Не верю!

Тропа моя вздыбилась круто,
и путь предстоит мне по-прежнему длинный,
и мне не мешают осенние пути —
опавшие листья,
холодные ливни.

Еще мне дорога дорожке покоя,
до звезд я хочу дотянуться рукою.
Я осенью вижу весеннюю пашню,
и завтрашний день дорог мне, как вчерашний.

СОДЕРЖАНИЕ

*** Запас отпущенных мне весен...	5
I. ПЕРВЫЙ СЛЕД	
*** Рано утром расходимся в разные стороны...	8
Оля-Оленька	9
Найдем ли молибден?	11
Мои друзья	13
*** Здесь скалы высятся над скалами...	14
*** Не думай плохо обо мне...	15
Переправа	17
Контрольно-следовая полоса	18
Ветер «Афганец»	19
Утро в селе	21
Покос	22
Первый след	23
*** И сам я в беззаботной юности...	24
Песня	25
Гроза над Нарочью	26
Путь металла	27
Кузнец	28
*** Здесь работа сродни ювелирной...	29
Электросварка	30
*** Мой труд конструктора сродни...	31

*** Мы строим дом...	32
Понедельник	33
*** Наступит день...	34
*** Всю жизнь учиться я стараюсь...	35
*** Вот Рембрандт умирает бедняком...	36
*** И камнем стать не страшно...	37
*** А годы похожи на горы...	38
*** Девушка в саду стихи читала...	39
Слово	40
Огни аэродрома	41
Семиклассницы	42
*** Перепачканные песком...	43
Вблизи аэродрома	44
Раубичи	45
Строитель мостов	46
На площади Победы — тишина	47

II. ВОСПОМИНАНИЯ О ДЕТСТВЕ

*** Иногда мне кажется...	50
Мед	51
Наводнение	54
Похоронный лист	56
Картошка	58
Нелло	60
ОРС	62
Сказка	64
Толкучка	65
Ирка	68
*** Когда над детством пошатнулось небо...	70

*** Уходят в небытие домишки кособокне...	71
Береза у школы	72
*** Когда осенний лист багровый...	74

III. АКВАРЕЛИ

Акварели	76
*** Шагай от электрички вправо...	77
*** Уселся март, как грач...	78
Грачи на вырубке	79
Юность	80
Край хвойной красоты	81
Любовь	82
Но ты не привыкай	83
*** Не смел никто другой...	84
Медовый месяц	85
Будь!	86
В твоих руках	87
*** Занятый работой...	88
Осень	89
*** Шинкуем капусту...	90
*** Вот снова осень за окном...	91
Туман	92
Дым	93
*** В последних днях перед зимой...	94
Смотрю старый любительский фильм	95
Гитара умолкла	97
*** Здесь излома угольный фламастер...	99
Горы	100
На берегах Баксана	101

*** Баксан ущелья гулким ревом будит... . . .	102
Рассвет	103
Ингури	104
Большой Каньон	105
Чатыр-Даг	107
Горная тропинка	109
*** Мы все стремимся к новым городам... . . .	110
Первый снег	111
*** А снег все падает и падает...	112
*** Антоновка к зиме совсем доспела... . . .	113
*** Кувыркнушь через голову в снег... . . .	114
Лесной ручей	115
*** Темнеющее небо над домами...	116
Запах сирени	117
Звон	118
*** Деревья нежно зеленеют в мае...	119
Мечта о ночном музее	120
Не обращай во зло	121
*** Зеленая маковка силосной башни... . . .	122

Борис Аркадьевич Ганкин
ТРОПУ ТОРИТЬ...

Редактор
Ф. Н. ЧЕРНЯ
Художник
Г. С. СКРИПНИЧЕНКО
Художественный редактор
Н. Р. КОЗЛОВ
Технический редактор
Т. М. СОКОЛ
Корректор
Е. А. БЕБЕЛЬ

АТ 04182. Сдано в набор 3/VII 1974 г.
Подп. к печати 28/X 1974 г. Тираж
7000 экз. Формат 60×90¹/₃₂. Бумага
тип. 1. Усл. печ. л. 4, Уч.-изд. л. 3,07.
Зак. 1281. Цена 31 коп.

Издательство «Мастацкая літаратура»
Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Советская, 19.

Полиграфический комбинат им. Я. Коласа Государственного комитета Совета Министров БССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Минск, Красная, 23.

Ганкин Б.

Г 19 Тропу торить... Стихи. Мн., «Маст. літ.»,
1974.

128 с.

Вторая книга Бориса Ганкина — это поэтическое восприятие мира нашим современником, человеком труда. Вдохновенно пишет автор о неповторимой красоте Белоруссии, о величии Советской Родины. Тепло и задушевно говорит поэт о дружбе и любви.

Г 70402-190
М 302(05)-74

Р 2

31 к.

